

Александр Мендыбаев родился в 1982 году, живет и работает в г. Алматы, Республика Казахстан. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Международное право». С 2014 года – слушатель Открытой литературной школы г. Алматы. Публиковался в журналах «Нева», «Литературная Алма-Ата», «За-За», «Дактиль» (Казахстан), в сборнике прозы «Дорога без конца».

СКАМЕЙКА

Повесть

1.

Багровый от ярости Куляда полчаса кряду распекал Саянова, называя «неблагодарным ублюдком», «бесталанным инженеришкой», «хвостиком» и «хлюпом».

– Ты, Саянов, обыкновенный собственник. Собственник, который ценит свои интересы превыше других. Кем бы ты был без меня? Вонючим инженеришкой с окладом девяносто рэ? Ты вообще кем себя возомнил?

Саянов смотрел на бронзовую пепельницу в форме собаки с огромными глазами и ничего не отвечал. Он никем себя не возомнил. Он написал статью по тематике своего рацпредложения. Статью заметили, опубликовали в солидном научном журнале, предложили развить до диссертации. Куляда узнал об этом уже из журнала.

– Я тебе как руководитель обещаю, – Куляда скрюченным от злобы пальцем поддел плотный галстучный узел и рванул его вбок, – больше никаких премий, прогрессивок, повышений. Пока я здесь сижу, – Куляда посмотрел куда-то вниз, – тебе, Саянов, жизни в институте не будет. Я тебе клянусь. Иди, жалуйся, кому угодно. Хоть этому самому...

Он замялся, а у Саянова невольно вырвалось:

– Щукину...

Куляда энергично закивал головой.

– Во-во, хоть Щукину, хоть в цэка. Плевать я на тебя хотел, посредственность ты неблагодарная. А теперь – марш из кабинета. Записываться будешь на приём за месяц. А наработки свои передашь Сорокатых.

Даже у невозмутимого Саянова от таких слов глаза полезли на лоб.

– Все?!

Куляда не ответил, лишь отмахнулся от Саянова как от назойливой мухи.

Саянов шёл по тёмному коридору и обдумывал планы мести. Написать на Куляду в ЦК? Но что? Да и кто поверит ему, Саянову? Тот же Сорокатых в два счёта докажет надуманность обвинений. Уволиться? Так Куляда спит и видит, когда он, Саянов, наконец, уйдёт. Но уходить он не торопился. Почему, собственно, он должен уходить? Потому что Куляда, тогда ещё начальник лаборатории с лаборантом Сорокатых, чуть ли не силком заставили Саянова вписать их в соавторы ТОФа? А потом, запутав в дебрях бюрократии, как-то незаметно из автора изобретения его превратили в «активно принимающего участие в экспериментах». Куляду повысили до руководителя проекта, Сорокатых получил замзавлаба. А ему, Саянову, оставалось лишь жалко улыбаться на приёмах и симпозиумах, где его в лучшем случае причисляли к соавторам. На ТОФе институт сделал имя. ТОФом заинтересовалось министерство авиационного строительства, у которого изобретение пыталось всеми правдами и неправдами выцепить министерство автомобильной промышленности, но потом вклинилось министерство обороны, которое полностью засекретило все исследования, а Куляду перевело в

Москву. Впрочем, его вскоре вернули, как «бесперспективного» (об этом говорила всезнающая Алла Викторовна). Оборонщики совместно с КГБ ещё полгода околачивались вокруг института. Саянову выдали огромную премию (хватило, чтобы купить «Москвич» и цветной телевизор). На работу и домой возили на серой «Волге», а в кабинете дежурил офицер в штатском. Правда, Саянов стал на время невыездной, но зачем ему Болгария, когда и здесь жизнь налаживалась. Возле Саянова крутились серьёзные товарищи – консультанты из министерств и ведомств. Должностей своих не раскрывали, обедали отдельно, но были толковыми и расторопными. Вытащив всю информацию, пожелали успехов в работе и отбыли в Москву, отобрав у Саянова подписку о неразглашении на двадцать пять лет. Да Саянов и не собирался никому рассказывать про ТОФ. Он был молод, счастлив, жизнь кипела. А потом начался крошечный ад. Куляда изгалялся как мог, зарубая на корню самые перспективные проекты. Сорокатых, отсматривая работы Саянова, забирал себе в лабораторию интересные наработки, оставляя Саянову прозу проверок, ничённых экспериментов и описательную часть, с которой справится любой лаборант. Куляда давно бы вышвырнул Саянова, но из Москвы звонили каждые полгода, узнать, не выдумал ли местный Кулибин ещё чего-нибудь революционного. Куляда злился, отвечал, что не выдумал и никогда не выдумает, но к нему мало прислушивались. Саянова многое не устраивало, но уйти из института, которому он отдал двенадцать лет жизни, было непросто. Обада спицей приколола его к институту, который отобрал его дитяще.

2.

Саянов зашёл в буфет. Пахло едой. Запах был скучный, какой-то жёлтый, невыразительный. Поев, он едва мог его выносить. То ли дело, когда накрывали столы к празднику. Запахи свежей зелени, тяжёлых, утопающих в майонезе салатов, настоящих, золотистых от масла балтийских шпрот заставляли ходить мимо двери кабинета по нескольку раз, считая секунды, когда позвонят. За это время живот выдавал целый концерт для тромбона с симфоническим оркестром. Нужно было непременно занять место подальше от Куляды. И желательно не рядом с Сорокатых, который, словно тамада на свадьбе, приковывал всё внимание к себе и даже читал рассказы собственного сочинения про некоего Алтайцева, недотёпы и неудачника, у которого всё валилось из рук. Коллектив до скрипа обожал это бульварное чтиво, переполненное штампами из фильмов про Уго Фантоцци¹. Сорокатых читал, а коллектив ржал как табун полковых лошадей и украдкой следил за реакцией Саянова. Саянов же делал вид, что его эти рассказы не касаются. Среагирует, будут смеяться ещё больше. А сказать что-то двухметровому Сорокатых не получалось. Для себя была заготовлена отличная фраза: «Связываться с дураками неохота», но внутри Саянов понимал – ну подойдёт, ну скажет. Сорокатых поднимется и со всей силы треснет Саянова по лицу. Хрустнут дорогие чехословацкие очки, которые привез в подарок бывший мамин ученик. И что тогда? Как жить с таким позором? Сразу увольняться? Нет, не дождётся.

В буфете было не больше дюжины обедающих. Наливали суп «со звёздочками», имелись в наличии и котлеты. Саянов спросил себе котлет, от супа отказался. Нашёл пустой столик возле окна, поставил два компота, салат, тарелку с хлебом. Солонка оказалась пуста, зато горчицы в гранёном пузырьке было хоть отбавляй. Саянов любил горчицу. Намазал толстым слоем хлеб и начал есть, роняя на стол крупные слёзы. Подошла Мирошниченко. В коллективе её не любили. В свои тридцать два Мирошниченко была не замужем и даже детьми запастись не догадалась. Все институтские модницы неделями обсуждали её очередную кофту-самовязку, по острому замечанию Сорокатых – снятую с почившей бабушки.

– Ой, Николай Ефимович, здравствуйте. А я тут тоже... пообедать. Можно?

¹ Уго Фантоцци – вымышленный литературный и киноперсонаж. Образ Фантоцци, маленького, невезучего, но неунывающего человека, воплотил итальянский комик Паоло Вилладжо.

Саянов прикрыл глаза. Даже если бы он ответил, что нельзя, назойливая как слепень Мирошниченко обязательно приземлилась бы рядом. Он мечтал сидеть с Аллой Викторовной или конфеткой-Мариночкой, но обе были птицами недосыгаемого полёта, к тому же в буфете почти не обедали. Не дождавшись ответа, Мирошниченко села.

– Вы знаете, Николай Ефимович, а мы в субботу в лес выезжали. Ребята захватили гитару, там есть полянка, вкруговую стоят пеньки. Алик всё играл свои куплеты, мы так смеялись...

Саянов густо обмазал кусок котлеты горчицей и отправил в рот. Горчицы было слишком много, он закашлялся.

– Что с вами? Что с вами?

Сумасшедшая Мирошниченко стала неистово стучать Саянова по спине, вызывая звонкую боль в спине. Саянов схватил компот, выпил полстакана, подавился. Разжёванная котлета вылетела с громким чихом через нос. Если бы тут была Мариночка или Алла Викторовна, он бы умер со стыда. Но Мирошниченко можно было не стесняться. Сделав вид, что ничего не произошло, та спросила:

– Захватить вам булочку с повидлой?

Саянов помотал головой. Его раздражала терпимость советской науки к неучам и бездарям, которые позволяют себе говорить «с повидлой».

– Тогда, с вашего позволения, себе захвачу.

Мирошниченко отошла к буфету, взяла булочку, вернулась к Саянову.

– Николай Ефимович, вы пили когда-нибудь медовый напиток? Там пасечник ребятам отпустил. Замечательный дедулька, называл напиток бражкой, смотрел с ехидной улыбкой, как ребята морщатся, но пьют. Даже я немного отхлебнула, стало так весело... – Мирошниченко завершала глупым смехом. На них стали оглядываться.

Саянов встал и, буркнув что-то вроде «Мне в туалет», сбежал, не попрощавшись.

3.

Огромная фотография Куляды стояла на покрытой бордовой тканью тумбе возле центральной лестницы. Гвоздик принесли много, но цветочки были так себе – куцые, кривоватые, каких-то тусклых, цвета куриных потрошков, оттенков. Едва Алевтина Владимировна, бессменный завхоз, успела раздать чёрные повязки, как огромные, с автомат для газировки, грузчики втащили алый гроб, в котором притулился сухонький, как вяленая корюшка, неожиданно короткий Куляда. Серый костюм, рукава которого так и не доходили до связанных бинтом запястий, выглядел унылым и каким-то пыльным. Саянов поймал себя на мысли, что впервые видит Куляду с такого ракурса. У того оказались невероятно узкие, словно щёлки для монет свиньи-копилки, ноздри, острые скулы и невыбритая у подбородка щетина. Вся в чёрном рыдала, склонившись над гробом, старуха, оказавшаяся старшей сестрой. Супруга, тоже вся в чёрном, с ненавистью оглядывала собравшихся. Крепкие, как дубы, сыны – один в коричневом, скорее всего оставшимся от отца костюме, другой в форме артиллерийского капитана – склонили головы в последнем поклоне и стали похожи на провинившихся школяров. Директор института подошёл к портрету, но из-за колоны его было не видно столпившимся слева. Тогда он прошагал к гробу, но затерялся в родных и близких. В конце концов он встал у табуретки, на которой лежали вымпелы, грамоты и пара медалей за трудовые заслуги, и начал речь, пытаясь придать голосу торжественности, но то и дело скатывался в откровенный пафос:

– Скоропостижно от нас ушёл великий, не побоюсь этого слова, близкий друг, замечательный отец, заботливый супруг, надёжный брат, товарищ Куляда...

Саянов оглядел присутствующих. Женщины плакали, поминутно заглядывая в зеркальца, чтобы поправить потёкшую тушь. Мужчины – словно футболисты, прикрывшие причинные места, все как на подбор в дешёвых, ношенных, наверное, в последний раз на свадьбу костюмах, изо всех сил старались придать торжественности постным лицам. В одном Саянов был уверен – радовались все. Куляда был дрянью, и своим скоропостижным уходом

изрядно подсластил это пятничное утро. Новость о его смерти словно лавина распространялась среди сослуживцев, народ забегал в кабинеты, принимая торжественную позу, с придыханием говоря: «А вы знаете, что у Куляды был инфаркт?» – Затем в подробностях, словно лично присутствовали при смерти, смаковали детали. Кто-то говорил, что Куляда упал, захрипел, жена смотрела телевизор, но так ничего и не услышала. На хрип прибежала старшая дочка, которая, как нарочно, гостила у родителей. Она-то и позвала мать. Приехала неотложка, пыталась откачать Куляду, но даже советская медицина иногда бессильна. Новость как пожар перекидывалась с отдела на отдел. Все считали своим долгом рассказать о случившемся, присовокупив подробности, о которых вряд ли могли знать. Если собрать их воедино, Куляда упал, ударившись о гипсового оленя, хрипел, словно Высоцкий, успел написать завешание, благословить дочь, принять причастие и последними его словами были: «Зинаида, береги детей».

Саянов ещё раз осмотрел сослуживцев. Скорбь сменилась пресным безразличием, а безразличие превратилось в самое настоящее нетерпение, все только и ждали, когда директор заткнётся и можно будет ехать на кладбище. Саянов тихо ликовал, и ликование его было столь бескорыстно, что Саянову едва ли не жаль было лежащего в гробу мерзавца.

Гроб понесли к катафалку. Люди расступились, соорудив живой коридор. На улице случилась вечная в такие моменты толкучка и бой за места. Институт не поскупился. Было много автобусов, мест должно было хватить. К инженеру-конструктору Леквоеву в «Волгу» забралась плеяда великих – Артём, Андрей, Лерочка, Нина. Успешные, модные, богатые – они были сродни богам и никого в свой круг не допускали. Обедали вместе и отдыхали вместе. Вместе садились на собраниях и вместе демонстративно прогуливали субботники. Все, кроме Саянова, хотели попасть в этот сонм небожителей, но законы у этого общества были строги и суровы: успех, именитые родители, импортная одежда, панибратское обращение «май френд». Здоровое, насколько это возможно, противостояние системе приветствовалось, но ограничивалось непосещением субботников и демонстраций, что не мешало плеяде великих посещать пленумы и собрания. Алла Викторовна и Мариночка иногда получали снисходительное приглашение за их сдвинутые в буфете столы, такой же почести удостаивалось ещё пять-шесть коллег. Остальные были объектами нейтральными. Саянов, Мирошниченко и прочие «советские трудящиеся» для плеяды никакого интереса не представляли. Они существовали в своём отдельном мире, мире, о котором плеяда ничего не хотела знать. Эти ребята не опускались до обсуждения изгоев, но с неким интересом слушали рассказы прихлебателей, что же происходит в этом жутком, отвратительном, таком неудобном мире. Наверное, больше всего их интересовало, как там вообще можно жить, да и зачем нужна такая жизнь.

Алла Викторовна и Мариночка стояли как оплётанные. Они на что-то надеялись, хотя и догадывались, что в «Волге» всего лишь пять мест, да и то если потесниться. Отдельным эшелонам грузилась в рыжий пазик компания Сорокатых. В плеяду он не входил, но Леквоев позволял себе иногда послушать опусы про Алтайцева. Заканчивалось это обычно весьма искренним смехом и снисходительным: «Потрясно, старик. Повеселил. Ну что ж, ступай к своим, тебя заждались». Униженный, растерянный Сорокатых возвращался к шумной компании, покидая которую пятнадцать минут назад был уверен, что это навсегда, что Леквоев бросит своё дежурное, полное харизмы и надежд: «Старик, с этого дня обедаешь с нами», – и жизнь расцветёт новыми красками. Но Сорокатых возвращался. Его коллеги делали вид, что ничего не случилось, просили почитать ещё что-нибудь про Алтайцева или рассказать последние институтские сплетни, но тот молча доедал свой обед и уходил на перекур.

Алла Викторовна, поразмыслив, что коль Леквоев не взял её на свой праздник жизни, решила, что сойдёт и Сорокатых, полезла за ним в автобус, но не тут-то было. Сорокатых (видать, и сам расстроенный тем, что его не взяли в «Волгу») повернулся к ней и с присущим ему апломбом спросил:

– Милая Алла Викторовна, на чём записать такое почтение? Вы же хотели ехать на «Волге» с Леквиевым?

На Сорокатых зашикали, напомнили, что не время и не место паясничать, Алла Викторовна вспыхнула, пулей вылетела из автобуса и, осмотревшись, направилась в «коробочку», перед которой стоял Саянов. Он был готов бежать к автобусу Сорокатых, если бы только Алла Викторовна решила в нём ехать. Но теперь и бегать не придётся. Он стоял у входа и зачарованно глядел, как белоснежные лодыжки взбираются по узким ступеням, мечтая прижаться щеками к этой соблазнительной белизне. Злобно посмотрев на новых соседей, Алла Викторовна плюхнулась возле окна. Мариночка же решила, что поездка с таким контингентом окончательно испортит её репутацию. Она вернулась к Сорокатым. К автобусу подошли сторожа. Завхоз, выглянув из крохотного окна, завопила словно в рупор:

– Николай Ефимыч. Давай внутрь, одного тебя ждём. Тоже мне, граф нашёлся.

Саянов вмиг поднялся в автобус, почти все места были заняты. Алла Викторовна сидела с краю, пришлось попросить её подвинуться. Проворчав что-то под нос, Алла Викторовна забила в угол и стала демонстративно глядеть в окно. Сторожа расселись на общем сиденье сзади и, прикрываясь «Огоньком», достали складной стаканчик и бутылку портвейна.

Заурчав двигателем, «коробочка» рванула в сырое мартовское утро.

4.

На кладбище каркали вороны. Погода совсем испортилась. Казалось, что сейчас не ранняя весна, а какая-то куца осень. Грязные голые ветви, на которых не распустилось ни одной почки, на земле – каша из глины, размякшая от недавно стаявшего снега. Ножки табуреток то и дело уходили в чавкающую жижу. Копачи шумно сморкались, закрывая одну ноздрю пальцем. Автобусы, разумеется, остановились в самой грязи. Повезло тем женщинам, кто не успел сменить сапоги на легкую обувь. Остальные поминутно вытаскивали застрявшие подошвы, опасаясь, как бы в этом месиве не осталась и вся туфля. Мужчины счищали ветками крупные комья земли, налипшие к низу брюк. Но попытки были бесполезными. Плонув на это безобразие, так и чвакали по грязи к могиле.

Саянов остался у автобусов. Во-первых – от множества ног дорогу разнесло так, что пройти и не упасть при его, Саяновской, неуклюжести, было нереально. Во-вторых – туфли, которые он только недавно купил в комиссионке, были действительно хорошими, а главное – единственными. Старые отказался ремонтировать даже сапожник дядя Миша. Так что Саянов задержался на сухом пятачке, зная, что можно отлично порадоваться и отсюда. Неподальёку обнаружилась даже скамейка. С широкими тёмно-зелёными брусками, массивными ножками, такие стоят у подъездов и в парках во всех городах огромной страны. Скамейка и скамейка. Саянов плюхнулся на неё, наблюдая за вознёй у могилы. Саянову было легко и приятно, хотелось сидеть и не вставать. Отличный день. Кончилась сама, без хлопот и усилий, целая вежа его проблем. Саянову, разумеется, изобретение никто не вернёт, но всё же наступило возмездие, а главное – тиран, пивший кровь, через несколько минут окажется в земле. Неизвестно кого ещё пришлют на смену, да вот только знал Саянов – никого хуже Куляды и быть не может. Даже Сорокатых – хоть и ехидна, но только ручная это ехидна. Зайдёт к Саянову, бросит дежурное: «Колян, там это, в расчётах помочь надо», – и Саянов идёт. А Сорокатых смотрит из-за плеча, чешет голову и хвалит: «Ну, молоток, ну дом советов, гений, гений чистой воды». И хорошо от этого Саянову, и все шуточки про Алтайцева такой ерундой кажутся. Сорокатых над всеми подтрунивает. Больше всех Мирошниченко достаётся. Да и нельзя на человека злиться бесконечно. Душа устаёт, выкипает. Только Куляда – мразь, тварь, скотина, будь он проклят... – Саянов с ужасом посмотрел на процессию, вспомнив, что нельзя про покойников плохо, да только почему нельзя? Кто это придумал? Какой-то римский сенатор? Так он и сам давно помер...

Саянов сидел и думал о голых коленях Аллы Викторовны. Как бы хорошо уткнуться туда лицом и лежать, нюхать, вдыхать сытный запах. А ведь можно и целовать, прижимать к себе её бёдра. Он почему-то вспомнил, как выходили из автобуса. Едва приехав на кладбище, Алла Викторовна попросила выпустить её. Саянов с сожалением подчинился. Женщина ринулась к выходу и выпрыгнула, не дождавшись полной остановки. Все подумали – по нужде. Но Саянов знал – не хочет, чтобы Леквоев и другие видели, с кем она на кладбище притащилась.

Саянов мечтал, что сейчас они поедут в кафе напротив института, там должен состояться поминальный обед. Дадут борщ. И лапшу. Он выберет борщ, потому как вкуснее. И жареной курицы съест сразу несколько кусков. А на второе – непременно что-нибудь мясное, и чтобы пюре было с густой подливой. А если будут разливать водку, то непременно закажет себе рюмку. Пустую. В неё нальёт воды и, наравне со всеми, будет пить и чокается. Саянов поймал себя на мысли, что еда на поминках всегда очень вкусная. Почему? Он и сам не знал. Наверное, после трудного нервного дня, суеты на кладбище, заунывных речей было особенно приятно расслабиться в тепле за накрытым столом, поесть домашней, чаще всего неплохо приготовленной пищи и...

...Саянов и сам не заметил, как уснул. А когда проснулся, не было ни автобусов, ни машин, ни людей. Лишь свежая, заставленная венками могила в десяти метрах от дороги. Уехали, а о нём даже не вспомнили. Мирошниченко и та не вспомнила. Он хотел обидеться на неё, но передумал. В мыслях замелькала картинка годовой давности, он возвращался домой. Возле закрытого ларька Союзпечати пьяный бугай огромной, словно ковш экскаватора, лапищей держал Мирошниченко за кофту. Саянов, у которого страх горячими струями стал куролесить по внутренностям, пытался пройти незамеченным. Мирошниченко встретила с ним взглядом и жалостливо позвала. Она даже успела окликнуть его по имени, но вместо отчества раздалась увесистая затрещина, оборвавшая трескучий голос Мирошниченко. Бугай, уставившись на Саянова, громыхнул:

– Чё-то хотел?! Ну вот и хилий отседа!

Саянов ускорил шаг. Он сгорал от стыда, слёзы катились градом, но вернуться и помочь – было выше его сил. У справочной будки он всё же остановился, скороговоркой бросил очкастой женщине: «Там человека избивают», – и ретировался к ближайшей остановке. Дома он готов был провалиться на нижний этаж. Хотел разыскать телефон Мирошниченко, позвонить, узнать, всё ли в порядке. Но понял глупость этой затеи. На следующий день он, опустив глаза, хотел пройти мимо, встретив её в буфете, но Мирошниченко поздоровалась с ним, села за его столик и весь обед щебетала о племяннике, который всю ночь дежурил у книжной лавки, где рано утром выкинули потрясающие новинки.

От мерзких воспоминаний Саянов отряхнулся, как ретивый конь, что машет гривой, сбрасывая всякую слякоть, вздумавшую валиться на него с крыши. Шлёпая новыми туфлями, он направился к могиле. Железный памятник завален венками. В середине уже прикручена шурупам керамическая фотография. Памятник временный. Земля осядет, сюда привезут гранит. Но Саянову это малоинтересно. Он не вернётся. Никогда. Шумно всосав тягучую жижу из носа, он дал сползти ей на язык, а затем, набрав воздуха в лёгкие, выстрелил зелёную пакость изо рта с резким звуком «тсуф». Раскидав пару венков, он с наслаждением помочился на железо, лишь после вспомнив, что памятник ставят у ног.

С чувством выполненного долга Саянов направился восвояси.

5.

Прикидывая, успеет ли он на обед или уже нет, Саянов отмахал четыре сектора, но до выхода так и не добрался. Сзади что-то громыхало. Он повернулся. Посреди дороги стояла скамейка. Та самая зелёная скамейка, на которой Саянов уснул. Странно, откуда она здесь взялась? Может, это другая скамейка? Ну, точно, он же шёл, искал глазами выход, а какой-то шутник вытащил её на дорогу. Хотя почему шутник. Видать, кому-то стало плохо, притащили

скамейку, но теперь уехали. Обхватив скамью руками, Саянов постарался оттащить её на обочину. Он кряхтел, рычал, выговаривая – «тяж-ж-жёл-лая, па-даль», но сил не хватало. Бросив скамейку – поплёлся вперёд. «Драг, драг», что-то громоздкое грохнуло позади. Он обернулся – чёртова скамейка будто сместилась. Да почему же – будто? Вот следы. Только что была там, а теперь – на метр ближе. Что за чертовщина? Он осмотрел скамейку. Повернулся, пошёл дальше. Снова «драг, драг, драг, драг, драг». Добрался до поворота. Скамейка, словно верный пёс, стояла в двух метрах позади. Внимательно посмотрев на скамейку, Саянов промолвил:

– Ну и чего ты за мной попёрлась?

Скамейка ничего не ответила. Саянов развернулся и побежал. Громыхания сзади участились. Он снова повернулся. Скамейка была неподалёку, но стояла как вкопанная. Он снова побежал. Как ни оглядывался, сколь резко ни менял маршрут, скамейка следовала за ним по пятам. Саянов шёл и думал – переутомление? Солнечный удар? Но какое солнце в такую погоду? Может, отравился чем-то за завтраком? И понимал, что ни одна из версий не объясняет случившегося. Абсурд, полный абсурд. Он заскочил в уходящий автобус и через сорок две минуты был дома.

Мать накормила Саянова варениками. Вареники были тяжёлыми, липкими, из толстого теста. Готовила мать, как и все учителя, ни шатко ни валко. Да и когда готовить, если каждый день нужно проверить тридцать шесть тетрадок. Саянова, никогда не знавшего иной стряпни, в молодости это устраивало. Но появилась студенческая столовая, кооперативные кафе, закусочные, буфет в институте, и Саянов понял, что еда бывает разной. Он давился глиняными варениками и всё думал, отчего мать не может сделать тесто тоньше, а картошку нарезать и поддержать в молоке. Но говорить стеснялся. Мать на подобные комментарии затягивала долгую песню про войну, голод и «радуйся, что хоть это есть». Саянов наелся, жалея, что так и не успел на поминальный обед. Настроение было прекрасным. Завтра – первый день без ненавистного Куляды. Саянову почему-то казалось, что жизнь теперь круто изменится. Он схватил мусорное ведро с ручкой, оплётённой синей изолентой, и потащился на помойку. У подъезда сидела бессмертная Софья Никитична. Смотрела на Саянова с прищуром. Саянов не курил папирос, водки отродясь не пробовал, да и в драках замечен не был. Это почему-то раздражало Софью Никитичну. Вот и сегодня она накинулась на не слишком вежливо поздоровавшегося Саянова.

– Что ты ходишь тут, пылишь? Знамо дело – детишек нет, потому и забот никаких. Ну, иди-иди, да смотри, чтобы мамка не заругала.

Саянов от злости скрипнул зубами. И чего она к нему пристаёт. Украдкой посмотрев на соседку, он охнул от удивления. Старуха сидела на той самой зелёной скамейке, его знакомице, притащившейся с кладбища. Ткнув в скамейку пальцем, Саянов, заикаясь, спросил:

– Э-э-это от-ткуда здесь?

Софья Никитична ничего не ответила, лишь сильнее прижала ладони к клюке да пожевала губами. Саянов ушёл, а скамейка осталась на месте. Выбросив мусор в контейнер, он сходил к реке, проверить, не остался ли где-то лёд. Когда вернулся во двор, Софьи Никитичны уже не было. Саянов почесал живот, а потом спросил:

– А Софья Никитична куда подевалась?

Скамейка ничего не ответила, может быть и к лучшему.

6.

На работе все обсуждали последнюю новость. На место Куляды назначен Щукин. Щукин – тихушник, скорее всего КГБшник. Его побаивались, а руководство – особенно. К Щукину в кабинет старались без лишней надобности не заходить, при Щукине прекращались самые нейтральные, политически-выверенные разговоры. Когда фотографировались, старались встать подальше от Щукина. Умел этот невзрачный, лысоватый, в огромных очках человечек с плохими зубами нагнать страху. Ходил-сутулился, глядел на всех исподлобья, будто ресницы на глазах считал. Говорил таким тихим голосом, что приходилось переспрашивать. Мариночка,

совсем тогда ещё девчонка, когда в первый раз Щукина увидела, то выронила поднос с компотом и ватрушкой, позорно вскрикнув «Щуки-и-ин»! Сам директор института перед ним заискивал, потому что Щукин был частым гостем в ЦК. Щукин приступал к работе в пять утра, а домой уходил иногда за полночь. Одному богу было известно, в каком отделе Щукин работал. Он не был в составе академсовета, не числился за бухгалтерией, да и Юрий Васильевич, толстяк-юрист, не называл его коллегой. Чем занимался Щукин, какие вопросы решал – то было загадкой. В его чёрную, обитую медной проволокой на заклёпках дверь осторожно стучали и с вежливым почтением заходили неизвестные товарищи, одетые как один в строгие костюмы. Впустив посетителей, дверь плотно закрывалась, а то, что обсуждалось в щукинском кабинете, для большинства оставалось тайной.

Щукин с утра перебрался в просторный, покрытый паркетом с роскошным зелёным ковром кабинет Куляды. Напротив портрета Ленина разместился Дзержинский со своей вечной бородкой клинышком. На длинном столе для совещаний к минералке добавился «Байкал», а на тумбочке появился блестящий электрический чайник. Когда Саянов вошёл в кабинет, Щукин как раз наливал кипяток из чайника в гранёный стакан. Заварка, набухнув, всплывала и кружила в горячем водовороте. Аккуратно прикрыв стакан листом плотной бумаги, Щукин жестом предложил садиться. Сегодня он был наряден. Чёрный вельветовый костюм, белоснежная рубашка, рубиново-голубой галстук. Огромные стёкла очков накрепко впились в толстую черепаховую оправу. Он посмотрел на Саянова и стал похож на гигантского грача. Мощная лампа, включенная, несмотря на солнечное утро, лила на его лысину яркий лимонный свет.

– Садитесь, товарищ Саянов. Что же вы стоите?

Саянов мигом шмыгнул на обитый тёмно-синей тканью стул. Он смотрел на одну из бутылок «Байкала», заметив, что в свете ламп напиток из чёрного стал тёмно-красным.

– Хотите газировки? – и, не дождавшись ответа, Щукин мигом открыл слюдяной открывалкой бутылку «Байкала», налив Саянову полный стакан. Саянов любил этот напиток. В их городе «Байкал» достать было непросто. Он отпивал шипучее лакомство, с сожалением понимая, что слишком скоро от напитка не останется и следа.

– Я вызвал вас, чтобы поговорить о нашем последующем сотрудничестве, – Саянов при этих словах сжался как от удара плетью, отставив подальше стакан со сладкой, отдающей сосновой смолой благодатью.

Щукин чего-то ждал, но Саянов не отвечал. Тогда он снял бумажку со стакана, бросил два куса рафинада и, тщательно размешав, сделал четыре глотка.

– Я изучал ваше дело. И знаю, что изобретение ТОФа – ваша заслуга. Ни Куляды, ни Сорокатых, ни Тартаковского. В наш век просто учёным быть мало. Следует иметь определённую хватку, крепость духа и пробивной характер. Изобретение нужно не просто выносить и родить, его нужно, с вашего позволения, поставить на ноги. Я, наверное, выражаюсь очень глупо, но... – Щукин поправил очки. Саянов заметил, какие у нового шефа усталые, воспалённые глаза. Отхлебнув ещё четыре глотка, Щукин продолжил:

– В итоге – вы потеряли изобретение, занимаетесь бесперспективными направлениями, вся ваша деятельность – проверка работ вчерашних недоучек. Вас вывели в тираж. Да-да. Вывели в тираж, затёрли, задвинули. Это плохо, товарищ Саянов, непростительно!

Саянов с грустью и удивлением посмотрел на Щукина. Он едва удержался, чтобы не развести руки в стороны. Саянов продолжил.

– Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что так виднее руководству, что Куляда попил вашей крови... отговорок очень много. А их вообще быть не должно.

– Но что же мне делать? – На этот раз Саянов всё-таки развёл руки. Щукин протёр очки галстуком. Посмотрел крохотными глазками и строго проговорил:

– Делайте то, что делаете лучше всего. Работайте, изобретайте, занимайтесь исследованиями. И обзаведитесь зубами, чтобы отстаивать свои изобретения, не позволяя утащить их всяким оппортунистам из-под вашего носа.

Щукин запустил по столу какую-то бумажку. Густым типографским шрифтом на бумажке были оттиснуты слова приказа: «Назначить тов. Саянова руководителем лаборатории

с окладом согласно штатному расписанию с...». Саянов поднял глаза на Щукина. Тот покивал головой.

– Да-да. Заберёте лабораторию себе, у вас месяц, чтобы разогнать тунеядцев и оставить толковых. И, разумеется, реанимируйте свои разработки. Наши товарищи, – Щукин поднял палец вверх, – считают некоторые из них весьма перспективными, – Щукин придвинул к Саянову листочек, вырванный из настольного блокнота, там были выписаны красивым крупным почерком восемь тем, которые, как и многие другие, были зарезаны весьма кстати почившим товарищем Кулядой.

7.

Наступила новая жизнь. Каждое утро Саянов начинал с совещания, где проговаривал с коллегами (он так и не научился называть их подчинёнными) фронт работ. Вечером, выслушивая результаты, делал пометки. Он оставил за собой самые сложные расчёты, проработку полемичных тем и чистое изобретательство. Саянов всё ещё не мог привыкнуть к тому, как много можно успеть с шестью коллегами, способными принять на себя рутинную работу. Мозг Саянова, словно тритон, вытащенный из вечной мерзлоты, оживал, напивался новыми идеями и работал как бешеный. Теперь и Саянов приходил на работу к половине седьмого, а засиживался до позднего вечера, но своего нового шефа он переплюнуть так и не смог. Щукин не докучал Саянову требованием бесконечных отчётов. И вообще предоставлял широкую свободу действий. Всё сводилось к простому принципу – пришёл, доложил, получил ЦУ, вернулся к работе. Первый же аванс позволил Саянову осуществить свою мечту. Югославская куртка, сшитая будто нарочно на Саянова, так и пылилась бы в комиссионке, но теперь Саянов смело мог купить её, не копейничая. Денег оставалось до неприличия много, и Саянов на радостях набрал матери сладостей и пластинок любимых композиторов. Теперь можно всё – починить «Москвич», съездить в Сочи, сводить мать в ресторан. Можно, но не хочется. Саянов чуть от злости зубами не скрипел, понимая, что все его материальные мечты свелись к банальной куртке. Походит он в ней неделю, походит другую, купит к куртке пижонский пиджак и новые брюки, а дальше что. Зато теперь даже Щукин похвалил его за внешний вид. Саянову нравился его коллектив, новое, вроде и панибратское, а такое почтительное обращение – «шеф». Алла Викторовна смотрела на Саянова с нескрываемым интересом, а тот, окунувшись в любимое дело, всё никак не находил времени вырваться из суеты работы. Отношения с Сорокатых приобрели странный характер. Тот больше не читал про Алтайцева. Бывшие же насмешники предпочли держаться от Саянова подальше. Ну его к чёрту. Сегодня Саянов – завлаб, а завтра? Лучше не рисковать. Саянов домой приходил поздно. Мать не слишком была довольна его повышением. «Неспроста всё это, Коленька, – говаривала она. – Было плохо, а станет ещё хуже. Не навсегда эти блага».

Скамейка всё это время стояла во дворе. Она бросила свою скверную привычку громыхать за ним по всему городу, но надолго ли – Саянов не знал. Стоит на месте – и на том спасибо.

8.

Саянов работал очень много, а вот спать почти не получалось. Однажды по дороге домой прохрапел свою остановку, очнувшись на конечной. «На выходных надо срочно отремонтировать машину», – подумал Саянов и выскочил в темноту улиц.

Саянов знал этот район. Индустриальный, или Индюк, как его называли все от мала до велика. Индюк был безобразным нарывом на теле города. Убийство и изнасилование считались чем-то обыденным. Грабили на Индюке бесконечно и бесконтрольно. Снимали шапки, куртки, сапоги, раздевали до нижнего белья. А как не грабить, если работа на фабриках-душегубках,

где не протянешь и двух лет, приносила сущие копейки. Грабитель тут же относил награбленное местному барыге, получал свою порцию ханки, чтобы вмазаться и уснуть в соседнем подъезде. Случалось, что вмазавшийся не доживал до утра, а с его смертью уходила призрачная надежда раскрыть грабёж. Всё живое и здравомыслящее словно из лесного пожара старалось перебраться отсюда подальше. Родители продавали последнее, не спущенное на наркоту и откуп от местных бандитов шмотьё, рыжьё и «непосильным трудом нажитое» имущество. Но Индюк как магнит тянул обратно – вырваться удавалось единицам. Остальные заживо гнили в этой клоаке, где мало кто доживал до сорока.

Саянов осторожно огляделся. В одиночестве он стоял на разбитой остановке с перевёрнутой урной. Ни такси, ни попуток. Вот же занесло, чёрт возьми. Куда ни глянь – крошечная тьма. Редкие фонари вдоль дороги, по которой и не думал ездить хоть какой-нибудь транспорт. Он шёл и шёл и всё надеялся, что кто-то остановится. Раздался отвратительный, протяжный, с причмокиванием, свист. Саянов понял – беды не миновать. Он готов был раздеться догола, отдать всё, лишь бы не били. Но за ним уже погнались безликие, какие-то серые и от того ещё более отвратительные образины. В тухлом свете фонарей блеснуло золото зубов. Отморозки бежали, свистели, что-то кричали. Саянов понимал – откупиться теперь не получится. Он поднял толпу, погнал за собой, превратившись в добычу. Саянов для них потеха, игрушка. Будут бить, пока не обмочится, а скорее всего – зарежут форсу ради. Саянову стало так страшно, что он рванул, не разбирая дороги. От страха и прыти не заметил перед собой подлый, словно для курей построенный заборчик. Запнувшись, он летел и думал, когда же всё-таки приземлится. А когда свалился, сразу понял – конец. Налетела толпа, стала бить – беспощадно, свирепо, злорадно. Старшие подзуживали младших, наказывая пинать по лицу, младшие пытались оттянуть его руки, чтобы освободить для ударов голову. Кто-то задыхался от злобы, кто-то кричал – «не мажь, сука, бей до хрусту». Саянову страшнее всего была их никчемная, бессмысленная жестокость. Они не просто хотели его убить, они жаждали доставить нечеловеческие страдания, кто-то пинал с разбегу, кто-то нарочно целился в пах.

И вдруг удары прекратились. Грохот, крики, хруст костей, какие-то вопли, топот уносящихся во тьму кирзачей. Саянов поднялся. Его трясло, тошнило. Лицо было разбито, тело ломило от боли. Он понимал, что прошло не больше минуты, если б били дольше, он бы не выдержал. Возле арыка у дороги лежало два истерзанных тела. А между ними стояла скамейка. Когда она сюда успела прибежать, осталось тайной. Саянов шёл, тело гудело от боли, скамейка громыкала где-то позади. Саянов всё вспоминал изуродованные тела своих обидчиков. У одного треснула голова, мозги, смешавшись с грязью, стекали жирными густыми каплями в арык. Второго сплющило, словно по нему прокатился грузовик. Височная кость надломилась, выдавив глаз, скула, разорвавшая щёку, торчала бело и безжизненно. Как ни страшна была эта сцена, Саянов был рад и очень благодарен скамейке за спасение. Радость перешла в злорадство, а злорадство вызвало длительный, безудержный смех. Добирался Саянов домой пешком, почему-то был уверен, что ничего с ним больше не случится. Скамейка громыкала сзади. В квартире, смыв грязь и кровь, выбросив изорванную одежду в корзину для белья, Саянов взял копию ахалтекинського ковра (очень хорошую копию – подарок университетских товарищей) и, выбежав во двор, накинул на скамейку.

9.

Леквоев защитил кандидатскую. Отмечал, словно получил «академика». Сняли целый этаж в «Гиацинте». Швейцар в тёмно-синей ливрее с золотыми пуговицами кланялся так, что едва не мёл бородой гранитное крыльцо. Была тут и плеяда, и дирекция института в полном составе, и многие коллеги. Саянов получил тиснёное золотом приглашение. Каллиграфическим почерком были написаны слова, зазывающие «разделить торжество науки над разумом, а разума над безалкогольными возлияниями будущего лауреата Нобелевской премии». Смеялись, шутили, приглашение было написано, что называется, «на грани»: ещё чуть-чуть и перебор. Леквоеву за папины заслуги могли простить всё, но Леквоев знал меру. Не переборщил, но эпатировал. Пригласили многих, разумеется, кроме всяких Мирошниченков и прочих

Степансавельичей. Они с глупой улыбкой слушали шумное обсуждение более счастливых коллег, как те планируют «пропивать» кандидатскую. Не пригласил новоиспечённый кандидат и Сорокатых. В шумном споре Леквоев недавно назвал его при всех бездарщиной, за что получил в ответ «папенькиного сыночка» и «мимозу». Сорокатых сидел в буфете, балагурил, всем видом показывая, что происходящее ему совсем не интересно, но никто не обращал на это внимания. Алла Викторовна напросилась в машину к Саянову. Она благоухала французскими духами. Мариночку приглашать не стали. Щукин заехал в ресторан на двадцать минут. Поздравил Леквоева и тут же умчался в аэропорт. У Щукина «горел» симпозиум в Ленинграде, надо было спешить. Перед отъездом он дал напутствие Саянову – не напиваться. Но Саянов и так не пил, он вообще никогда не пил, а тут ещё и за рулём. Гремела музыка, на стол подавались нежнейшие деликатесы, а Алла Викторовна приглашала Саянова на каждый танец. Как ни весело было застолье, как щедро ни опаивал Леквоев своих гостей, как ни блистали на площадке Лерочка и Нина, но Саянов засобирался домой. Алла Викторовна, пившая только рислинг, смотрела на него пьяными задорными глазами, а потом украдкой поцеловала в шею. У Саянова от случившегося закружилась голова. Он нашёл руку Аллы Викторовны, крепко сжал хрупкие пальцы, а уж она не позволила отпустить, пока не сели в машину.

– Ну что, Николенька, отвезёшь домой?

И вот это её «Николенька» было таким нежным, таким обещающим, что попроси Алла Викторовна отвезти её на Луну, Саянов немедля отыскал бы на карте автостраду на «Байконур». У подъезда Алла Викторовна потребовала проводить её до самой квартиры, сославшись на хулиганов, часто проводящих в подъезде всё свободное время. Саянов, вспомнив ночное приключение, растерялся. Алла Викторовна силком потащила его за собой. Заметив, что никаких хулиганов нет и в помине, Саянов выпятил грудь колесом. Предчувствие сулило великолепное приключение. Открыв квартиру, Алла Викторовна буквально зашвырнула его внутрь.

– Пойдём... пойдём-пойдём... – она тащила Саянова словно буксир засевшую на мели баржу. Квартирка у Аллы Викторовны оказалась скромной полуторкой, из-за отсутствия шкафов платья и блузки висели на вешалках, а вешалки болтались на гвоздях, криво вбитых в бетонную стену. Откупорив новую бутылку рислинга (Саянова смутило количество этих бутылок в дрожащем холодильнике), она стала пить прямо из горлышка. Угостила и Саянова, он всё отнекивался, в итоге шикарная рубашка оказалась залита вином.

– Ой, вот ведь незадача. А ну снимай, снимай живо, я утюгом просушу.

Когда Саянов остался без рубашки, внутри живота растеклось нечто тёплое, липкое, такое редкое в его жизни, что он и не знал, как описать это чувство. Светила оранжевая лампочка без торшера, Алла Викторовна через голову стянула с себя вмиг наскучившее платье, рванула ремень на брюках Саянова, а когда они остались в нижнем белье, Саянов потянулся к выключателю.

– Не надо, – хрипло сказала Алла Викторовна, – неужели посмотреть не хочешь? Я вот хочу, – она стянула с Саянова сатиновые «семейки», а сама с пластмассовым щелчком расстегнула бюстгальтер, обнажив некогда красивую, но дрябловатую и слегка отвисшую грудь. Потом, согнув ноги, стала стаскивать трусики. Саянов, ошалевший от увиденного, больше всего был поражён, что женщины снимают трусы совсем не как мужчины. И это было последней его трезвой мыслью. В горячем ознобе он понял, что там Алла Викторовна рыжая, точнее медная, и это было очень красиво. У Саянова закружилась голова, Алла Викторовна щёлкнула выключателем. А потом было очень хорошо, горячо и приятно. Алла Викторовна тяжело дышала, Саянов терзал её тело, словно пытался наверстать упущенное. В какой-то момент Алла Викторовна слегка отстранила Саянова, ворчливо, но ласково, прошептав:

– Да что же ты такой ненасытный, а? С кругосветки вернулся, что ли?

Оба так утомились, что проспали будильник и без завтрака рванули на работу.

Следующая неделя началась с крупного скандала. Группу Сорокатых переводили в подчинение Саянову. Саянов тщательно готовился к разговору со своим бывшим врагом. Хотя почему врагом? Оппонентом. Все обиды позади. Приключения Алтайцева забыты, Сорокатых вежливо здоровался в коридорах, коллеги плодотворно обсуждали рабочие вопросы. Сейчас Сорокатых придёт на первую встречу. Саянов умышленно будет говорить ему «коллега». Никакого панибратства. Никакого унижения. Лишь глубокое уважение как к учёному. И всё же Саянов лукавил. Он прекрасно понимал, что так, как прежде, быть не может. Он не простит Сорокатых годы унижений. При любом раскладе он...

...В дверь без стука ворвался Сорокатых. Отбросив протянутую для приветствия ладонь, он завопил неожиданно высоким, то и дело срывающимся голосом:

– Это что ещё за хреновина тут происходит. Ты – мой шеф? Ты, тряпка и бестолочь, о которую треть института вытирает ноги, будешь давать указания, а сам просиживать жопу в кулядовском кресле?

Саянов опешил. Он совершенно не был готов к такому развороту. Больше всего ему хотелось, чтобы кто-то зашёл в кабинет, убрал разбушевавшегося Сорокатых, а потом, как-нибудь без его участия, уволил, и чтобы Сорокатых больше не появлялся в этих стенах.

Сорокатых схватил Саянова за рубашку. С бисерным стуком полетели на пол пуговицы.

– Ты что же, сука, думаешь – у меня на тебя управы не найдётся? Да я и тебя, и твоего Щукина урою. У меня такие знакомства, что вам, вам...

Не договорив, он схватил со стола листок и стал писать заявление. Саянов, осторожно заглядывая через плечо, понял, что заявление Сорокатых написал на имя Щукина, Сорокатых, заметив, что Саянов подглядывает, схватил бумажку и стал запихивать её Саянову в рот. Тот вяло сопротивлялся, понимая, что сейчас Сорокатых лучше не злить.

– Подавился, подавился, скотина? Я сам! Сам ухожу из этого болота. И ты мне никогда шефом не будешь. Понял. Понял?! – отвесив Саянову две звонкие пощёчины, он, казалось, немного поостыл. Пошёл к двери, но выходя обернулся и, ткнув пальцем в Саянова, промолвил, задыхаясь от распиравшей злобы:

– Это только аванс... после работы отметелю... – Сорокатых хотел сказать ещё что-то, но лишь громко хлопнул дверью.

Как ни убеждал себя Саянов, что всё кончилось, как ни хотел верить в то, что Сорокатых одумается и уберётся из института подбру-поздорову, да верилось в такой исход с трудом. Он с ужасом представлял, как выходит к машине, а огромный Сорокатых хватает его за воротник, валит и бьёт. Пуще боли Саянов боялся унижения, отвратительного унижения, которое ещё долго будет разрушать его изнутри. Саянов работал, но какая сегодня могла быть работа. Он всё раздумывал, что же делать. Может, дожидаться, пока все уйдут? Тогда кроме парочки сторожей никто не станет свидетелем его позора. Сказать Щукину – тот вздохнёт, закатит глаза и, разумеется, примет меры, но о Саянове сделает соответствующие выводы. Сбежать пораньше – тоже не вариант. Сорокатых наверняка просчитал такой ход, он не даст покинуть Саянову институт. В милицию Саянов обращаться даже и не думал. Милиция поднимет его на смех, а коллектив на всю жизнь прозовёт стукачом. Саянова бесила вся глупость сложившейся ситуации. Не научился подростком решать такие проблемы – они догнали его во взрослой жизни. Саянов мечтал – сейчас позвонят, сообщат – Сорокатых с треском уволен и только что умчался в ярости домой на своих «Жигулях». Или ещё лучше – Сорокатых нахамил Щукину. Вызвали милицию, инспектор оформляет смутьяна на пятнадцать суток. Саянов никак не мог сосредоточиться. Он лишь мечтал, чтобы его проблема решилась без его участия. Время летело быстрее, чем обычно, хотя он готов был хоть неделю не покидать институт. Чёрт побери, уже половина шестого, а ничего ещё не сделано. Саянов изводил себя жуткими вариациями, что могло бы произойти. В конце концов он накрутил себя до животного, не поддающегося контролю страха, воспалённое воображение рисовало совсем уж неправдоподобные картины. Он злился на Сорокатых, в какой-то момент мечтал о том, чтобы Сорокатых сбил троллейбус. Но этот надутый павлин не ходил никуда пешком, так что

надеяться на экологически чистый общественный транспорт не приходилось. На столе затрещал телефон. Вызывал Щукин.

– Товарищ Саянов. Немедленно зайдите. Товарищ Сорокатых...

Связь оборвалась. Саянов рванул в кабинет к шефу. Чёрт побери. О его конфликте уже известно руководству. Но откуда? Неужели его секретарь, дородная усатая женщина с редким именем Аврора, подслушав их утреннюю ссору, доложила всё шефу. Такое положение вещей его вполне устраивало. Щукин примет меры, репутация Саянова не пострадает. Он не доносчик, просто секретарь, переживая за шефа, сообщила об инциденте.

Он толкнул дверь в кабинет Щукина. За огромным столом разместилось почти всё руководство института. Рядом со Щукиным сидел милицейский инспектор. Ещё один, кажется старшина, разместился на одном из стульев, расположенных вдоль стены. Щукин спросил:

– Товарищ Саянов. Вы товарища Сорокатых куда-нибудь отпускали?

Саянов ничего не понимал, он лишь растерянно проблеял:

– Н-нее-ет. А что случилось?

Инспектор упёрся кулаками в стол и, пристально смотря на Саянова, промолвил:

– Товарищ Сорокатых подвергся хулиганскому нападению. Он в хирургии. Идёт операция.

Саянов прижал ладонь ко рту. Инспектор покивал головой.

– Да-да. Били страшно. И не руками.

Старшина, сидевший у стены, встал и отчеканил:

– Повреждения как от тяжёлых деревянных предметов – дубины, палки, штaketник, не исключены фрагменты забора.

Саянов заволновался.

– Но-но откуда вы знаете, что деревянные? Может быть, арматура?

Инспектор, мазнув по лицу Саянова хитрым недоверчивым взглядом, посмотрел на старшину. Кивнул ему так, будто разрешал сказать что-то важное. Старшина, строго посмотрев на Саянова, отчеканил:

– Товарищ... – Он запнулся. Инспектор подсказал фамилию. Старшина продолжил:

– Товарищ Саянов. Вы недооцениваете советскую милицию. Это дерево. Приложи вашего коллегу арматурой хоть в половину той силы, он непременно бы скончался...

За столом загудели. Саянов снова осмотрел всех ошалелыми глазами.

– Да что же мы сидим? Нужно срочно ехать в больницу.

11.

Ни в тот злополучный вечер, ни даже через неделю к Сорокатых поехать не удалось. Из реанимации его переводили в интенсивную терапию, из интенсивной терапии – в реанимацию. Лучше ему не становилось. Поговаривали, что у Сорокатых, что называется, «поехала кукушка», своих не узнавал, дать показаний не мог. Милиция допросила институтских, но ничего вразумительного выпытать не удалось. Саянов, которого глодало двойственное чувство, вспоминал тот день. Точнее ночь. Он вернулся домой и никак не мог уснуть. Саянов метался в бессоннице, а сложив в голове все факты, выскочил во двор и накинудся на скамейку.

– Я знаю, что это ты. Знаю. Зачем? Скажи мне, зачем? Это ведь не хулиганы? Не бандиты. Это Сорокатых. Что же ты наделала? Что?

Скамейка молчала. На втором этаже загорелся свет, Саянов едва увернулся от порции холодного чая, которым щедро его угостила разбуженная соседка. Саянов посидел на скамейке, посмотрел на опустевший двор и поднялся домой.

Прошло два дня. Саянов огромной ложкой забрасывал в себя салат из свежего редиса, укропа, молодого лука и хрустящих огурцов, обильно политых майонезом. Истосковавшийся по

витаминам организм всё не мог насытиться аппетитным овощным многообразием. Сожрав чуть не полтазика, он всё не мог остановиться. В комнату вошла мать.

– Коленька, слышал новость про Сашу – Сквороду?

Макая ещё горячий, специально купленный к салату хлеб в сочную майонезно-овощную жижу, тот промолчал. На кой чёрт ему нужен этот кретин. В своё время Скворода обложил непосильной данью их класс, хотя сам учился в другом с таинственными буквами – ЗПР. Он предпочитал водиться со старшеклассниками, лупя почём зря всех от мала до велика. Саянову от Сквороды доставалось не меньше других. Этот шнырь умудрился даже залезть в бидон, куда Саянов спрятал деньги на молоко. А однажды Скворода украл у Саянова велосипед. Сломал дужку замка в подвале и вытащил. Весь двор об этом знал, а участковый почему-то не догадывался. Мать дошла до прокурора района, но ничего с Сашей поделывать не получилось. Участковый приходил к Саяновым, тихо и виновато шептал матери на кухне: «Ну вы же понимаете, что ему ничего не будет. Зачем раздувать бучу?» Бучу не раздували. В последний раз Скворода сильно поколотил Саянова в девятом классе, когда тот шёл на городскую олимпиаду по физике. Поколотил от скуки, от лени. Просто чтобы он, Саянов, до олимпиады своей не дошёл. И Саянов, нос которого увеличился втрое, а единственный, нарочно припасённый для олимпиады джемпер был покрыт грязью, остался дома, в ожидании неотложки.

Саянов ненавидел Сквороду. Когда тот зарезал в десятом таксиста, никто даже не удивился. Все лишь вздохнули с облегчением, когда Сквороду, наконец, отправили то ли на принудительное лечение, то ли в колонию для малолетних. Потом была целая эпопея судов и отсидок. Все эти годы Скворода во дворе не появлялся. И вот буквально неделю назад пришло ужасное известие – Сквороду отпускают домой. Его мать, рыжая с жёлтыми зубами женщина, бегала по квартирам, собирала характеристики. Ей до зарезу нужен был тот, кто поручится за Сашеньку. Но таких не нашлось. Сквороду знали и ненавидели все жильцы без исключения. А новые – наслушавшись кошмаров, звонили участковому, умоляя оградить их от бандита-досрочника.

Мать повторила вопрос. Саянов, нехотя оторвавшись от салата, с раздражением посмотрел на неё.

– Ну слышал я, слышал. Сквороду выпускают из тюрьмы. Ну, или из психушки. Мне-то какое дело?

Саянов лукавил. Ему было дело, и очень большое. Он уже места себе не находил в ожидании Сквороды, присутствие которого в их дворе не сулило ничего хорошего. Мать, вытерев сухой ладонью крошки со стола, тихо промолвила:

– Избили его очень сильно. До смерти. Завтра тело привезут, мать всю ночь кричала...

Саянов доел салат, отказался от чая и спустился во двор. На его скамейке сидела вечная София Никитична.

– Ну чего устался, чего устался?

Но Саянов смотрел совсем не на соседку. Он смотрел на скамейку. А потом тихо прошептал ей: «Спасибо».

12.

В пятницу разрешили навестить Сорокатых. Врачи перевели его в общее отделение, хотя он, как и прежде, никого не узнавал. В палате, помимо Сорокатых, лежал какой-то дед. Дед не спал, но к посетителям не повернулся. Делегация из пяти человек вломилась в душное помещение, которое, судя по всему, не проветривалось со времён первой пятилетки. Сорокатых лежал, безразлично колупал стену. Когда с ним поздоровались – обвёл коллег мутным, каким-то отстранённым взглядом. На приветствие так и не ответил. На тумбочке покоились разрезанное яблоко и пара пряников на блюде. Под ними – тёмная ниша, в которой, никого не стесняясь, стоял рулон туалетной бумаги, кружка и зубной порошок. Саянов заметил про себя –

ни одной книги. Даже у деда за подушкой спряталась свёрнутая в трубочку «Наука и жизнь». У Сорокатых, в неделю вычитывающего два толстенных романа – не было даже газеты.

Саянов подошёл ближе. Сорокатых вяло посмотрел на него. Внезапно его глаза расширились как у кошки. Сорокатых закричал так пронзительно, что вялый, словно амёба, дед резко подскочил на своей скрипучей шконке. Вбежала медсестра, а за нею седой врач с круглым брюшком. Сделали Сорокатых укол. Попросили всех удалиться.

За ужином мать рассказала, что хулиганы в городе совсем распоясались. Вчера ночью жестоко избили Кирилла, спокойного тихого соседского парня, который, как считает мать, числился в приятелях Саянова. Мать не знала, что Саянов всю жизнь презирал Кирилла. Была у них в школе Маша Нефёдова, красивая, с замечательными хвостиками вместо опостылевших косичек. Маша нравилась Саянову. Но она нравилась и Кириллу. И вот Кирилл написал ей от имени Саянова длинное письмо с признанием в любви. Было в письме и «пламенное, погубленное навсегда сердце», и «истерзанная горькими бесплотными надеждами душа», были и «ланиты нетронутые, нецелованные», заканчивалось письмо угрозой – «не станешь со мной дружить, утоплюсь». Все быстро разобрались, кто истинный автор строк, и хотя Кирилл дружески и примирительно первым протянул Саянову руку, тот так и не смог забыть омерзительный гогот одноклассников. А вот теперь Кирилл избит. И это уже слишком. Саянов выскочил во двор. Пнул пустую скамейку. Громко рывкнул:

– Ты что себе позволяешь? Ты кем себя возомнила?

Но скамейка продолжала хранить молчание. Тогда Саянов спустился в подвал, достал ржавую толстую цепь, хранившийся в промасленной бумаге, но так и не отвезённый на дачу амбарный замок и, поднявшись, приковал скамейку к трубе поливного крана.

Через пару дней мать сообщила о ещё одном избитом школьном сотоварище, которого всё детство ставила Саянову в пример. Саянов, выскочив во двор, даже не удивился, что газон был всё ещё влажным от воды, а разорванная труба грубо заварена автогеном. Цепочки и замка нигде не было видно, скорее всего, потоп случился рано утром, течь давно уже была устранена. Несмотря на поздний час, Саянов завёл машину и рванул за город.

13.

Дача Саяновых находилась в десяти километрах от города. Недалеко. И это было единственным её преимуществом. Участки в этом сухом, маловодном, больше похожем на солончак дачном кооперативе брали лишь те, кому не светило получить их ни в каком другом месте. Малообеспеченные семьи в двенадцать ртов, алкоголики, которых родня выселила из законных метров, тёмные личности, варившие в подвалах невесть какие снадобья. На верхних дачах (подальше от трассы) обитали покрытые сизыми татуировками, неприветливые постояльцы. Эти настораживались словно охотничья собака, едва жёлтый милицейский уазик за каким-то чёртом заворачивал в эту треклятую пустыню.

Задницы. С детства Саянов помнил задницы – жирные, тощие, кривые, упругие, но неизменно затянутые в тёмно-синие трико, задницы, торчащие кверху на всех участках. Люди колупались на своих глиняных клочках с апреля по сентябрь в надежде вырастить хоть какой-то урожай. Скотины тут не держали. Питьевой воды едва хватало на людей. Технической можно было красить крыши. По пыльной дороге целыми днями тащились тачки с прилаженными к ним сорокалитровыми серебристыми флягами. Когда всё же давали воду, нередко случались драки, ругань стояла по всем участкам. Вместо полива соседи ходили смотреть, не убегает ли на сторону живительная влага. Если замечали, что кто-то заливает воду в контейнер «про запас» или бросает шланг на грядки, не контролируя полив, перекрывали трубу. В особых случаях сбивали вентиль. Стоило ли говорить, что дружбы особой соседи не водили, дача была каторгой, на которой следовало пахать круглые сутки, чтобы хоть немного прокормиться.

Саянов помнил (и был благодарен матери), что им удалось избежать всех этих кошмаров. Учительница-мать отродясь не умела возиться с землёй, у Саянова (это знали все)

руки росли из... в общем не умел Саянов ничего делать руками. В школе не дотянул до золотой медали исключительно за «тройки» по трудам и физкультуре. Дачу держали с прицелом «продать на свадьбу». Но поскольку Саянов так никогда и не женился, дача, как тяжёлый, набитый камнями прицеп, громыхала за ними всю их пресную как промокашка жизнь, пить не просила, но и толку от неё никакого не было. Посещалась дача в середине лета, местным шабашникам ставился ящик водки да пара червонцев. За это шабашники кое-как приводили хлипкие постройки в порядок, правили забор, выпалывали курай, которому было один чёрт где расти. А ещё дача служила хранилищем для всего, что не влезало на балкон или в кладовку. Мать и сын исправно отвозили туда весь хлам, чтобы к следующему приезду обнаружить сбитый с сарая замок и девственно-чистые полки.

Саянов летел по трассе в стремительно сгущавшихся сумерках. Он думал о том, что хорошо бы собрать бригаду, купить материалов, поправить старый покосившийся дом, а лучше всего поставить новый. Разбить огород или сад, пробурить артезианский колодец. Теперь и деньги позволяли. Но стоит ли возиться с этой рухлядью? Может, продать её с концами и купить дачу в нормальном месте? Но зачем? Чтобы снова видеть тёмно-синие трико? Размышляя, Саянов следил за трассой в зеркало заднего вида. Скамейки не было видно, но Саянов знал – она где-то рядом, мчится за ним, прискачет на самую дачу. Саянову только этого и было надо. Приехав, Саянов проверил дом, постучал молотком по крепким оконным запорам, ужаснулся обглоданным крысиным трупам, застрявшим в мышеловках, решив оставить их до приезда матери. Он вышел во двор. Скамейка как ни в чём не бывало примостилась неподалёку от сарая. Саянов не удивился. Он вытащил огромный колун и со всего маху рубанул по спинке. Верхняя доска, треснув, обнажила потемневшую древесину. Саянов взял лом, но сил взломать упругие, ставшие невероятно гибкими доски не хватило. Нашлась и ржавая пила. Саянов пилил сиденье, дело, казалось, шло на лад. Да только незаметно для Саянова скамейка, изогнувшись, завалилась вперёд, больно ударив его по ногам. Он снова схватил колун, подошёл сзади. Ударил. Шатнувшись, скамейка боднула его так, что Саянов отлетел к самому забору. Когда он поднялся, держась за ушибленный бок, скамейка стояла как ни в чём не бывало.

– Ах ты, стервь, – выматерился как умел Саянов, – ну хорошо!

Он раскрутил бензобак, схватив шланг, сунул его внутрь и присосался. Саянов много раз видел, как это делают другие, особенно лихо это выходило в кино. Бензин хлынул из шланга быстрее, чем ожидал Саянов. Пришлось отплёвываться. Схватив ведро, Саянов наполнил примерно четверть и резко вытащил шланг. Сокрущённо покачал головой, понимая, что в бензобаке осталось совсем немного бензина. Ну, ничего, заправка недалеко. Как-нибудь доберётся. Он осторожно облил бензином скамейку, стараясь лить тонкой струёй, чтобы хватило на каждую доску. В свете мутного от пыли и дождей фонаря бензин, капавший с досок, казался красноватым. Саянов бросил мятую газету поверх скамейки, чиркнул спичкой. Газета занялась, а когда пламя достигло бензина, ухнуло так, что газета слетела на пол, а Саянов отпрянул, потирая подпаленные брови. Скамейка горела густым тягучим пламенем, словно была из резины. Костёр осветил дачный участок, Саянов заволновался за автомобиль. От греха подальше отогнал его на дорогу. Залаяли собаки, скамейка всё горела, Саянов смотрел и щурил глаза. От запахов бензина и гари болела голова. Саянов и представить себе не мог, что скамейка будет гореть так долго. По всем расчётам дерево должно было уже давно развалиться, оставив вокруг красные угли. Но прошёл час, затем другой, а скамейка всё полыхала. Это было странным. Хотя чему удивляться? Скамейка притащилась за ним с кладбища, бодает и крушит его неприятелей. Саянов, даром что учёный, не мог найти никакого объяснения. Наконец, ближе к часу ночи, пламя начало утихать, а к половине второго остался лишь обгоревший, словно скелет диковинного животного, остов. Саянов схватил колун и со всей силы рубанул скамейку. Колун вылетел из рук, Саянов, рассчитывающий с лёгкостью сокрушить обугленные доски, наткнулся на твёрдое дерево. Казалось, скамейка стала только крепче. Но теперь она была мёртвой. Саянов не знал, как это объяснить. Он только чувствовал. Не было в ней той жуткой живой силы, которая заставляла её бегать за Саяновым, крушить врагов и с лёгкостью рвать толстые ржавые цепи. Удостоверившись, что тлеющая скамейка не подпалит постройки

на даче, он прыгнул в машину. Вернувшись домой, нарочно потащил мусор, несмотря на поздний час. Скамейки не было.

14.

Несмотря на бессонную ночь, чувствовал себя Саянов вполне сносно. Выпил кофе, умыл лицо прохладной водой. Плохо, что утром не помылся в душе. Руки воняли бензином, а от волос до сих пор тянулся шлейф гари. На обеде к нему подсел Леквоев. Это само по себе было удивительным. После кандидатской Леквоев ни разу не обмолвился с Саяновым и словом, хотя жал руку при каждой встрече.

Леквоев поставил стакан с кефиром и спросил:

– Старик, не против?

Саянов утвердительно кивнул.

– Отец достал потрясную книгу, – Леквоев придвинул к Саянову светло-зелёный томик, больше похожий на брошюру самиздата. Саянов залюбовался книгой, Леквоев отпил кефир. А потом совсем по-приятельски потрепал Саянова за рукав.

– Дружище. Знаю, что ты дико занят, но умоляю – прочитай. Хочу подебатировать, а не с кем.

Саянов удивился. Он любил читать, но в книгоманах никогда не числился и редко следил за новинками. Впрочем, Леквоев ему не выпить предлагал, потому Саянов спрятал светло-зелёную книжицу. Прочитает и даже позвонит знакомому букинисту, чтобы не ударить лицом в грязь. Леквоев оказался великолепным собеседником, от литературы они перешли к космонавтике, оттуда плавно прыгнули к модной кибернетике, ну а кибернетику сменили на острополемичного Фрейда. Обед пролетел незаметно. Зашли участники плеяды, заметили своего предводителя. Нет, Леквоев не покинул Саянова. Помахав рукой, он разместил их за крохотным столиком Саянова, всё уточняя, не побеспокоила ли его шумная ватага. Такое могло и не повториться. Саянов, махнув рукой, спросил себе чаю и потерял ещё полчаса рабочего времени. Обсуждали кинофильмы, Рейгана, пикантные случаи в институте. Когда Саянова вызвали через секретаря, он с теплом смотрел на своих новых приятелей. Леквоев степенно поднялся, протянул свою загорелую руку, а когда Саянов ответил, Леквоев положил левую ладонь поверх рукопожатия.

– И почему мы раньше не общались? Послушай, Николя... старик, ты, когда обедать идёшь, обязательно звони, буду рад.

Они раскланялись. Распрощавшись с плеядой, Саянов направился в кабинет.

В кабинете его ждала Алла Викторовна.

– Где ты ходишь, Саянов?

Саянов пожал плечами.

– Обедал. А что случилось?

Алла Викторовна горько усмехнулась, подошла к окну, обняла себя руками.

– Что-то ты совсем меня стал избегать. Между нами – конец?

Саянов опешил. Он и не знал, что у них было начало. Была ночь, были совместные обеды, причём однажды Саянов весьма бесцеремонно перебрался к Алле Викторовне за столик, едва Мирошниченко отошла за ватрушкой. Но они не встречались и лишь иногда болтали в курилке, хотя оба и не курили. Саянов не знал, что отвечать.

– Алла Викторовна, Алла... ты... мы...

Алла Викторовна почему-то вспыхнула как факел. Блеющим, как у овцы, голосом она начала передразнивать Саянова:

– Ты-ы-ы... мы-ы-ы-ы! Мужик ты, в конце концов, или нет?

– Да что случилось-то?

Алла Викторовна ещё раз горько усмехнулась и злобно уставилась на Саянова.

– Незапланированная случилась. Вот что.

Саянов опешил. От растерянности спросил глупо:

– От меня?

Алла Викторовна, не сказав ни слова, хлопнула его по щеке. А потом разревелась. Саянов, открыв «Боржом», заставил её выпить полстакана. От слёз лицо Аллы Викторовны стало сморщенным, некрасивым. Словно слёзы стёрли всю маскировку, обнажив истинный её возраст. Саянов задумался. Алла Викторовна и не была красивой. Никогда. Рослая, стройная, но после близости, когда она лежала без одежды, её изъёмы так и бросались в глаза. Алла Викторовна казалась притягательной, пока была недоступной. А теперь Саянов смотрел на неё по-другому – излишне красная, морщинистая шея, второй подбородок, целлюлит, кривоватые зубы. И эти очки, разве они могут украсить женщину? Б-р-р-р! Саянову стало стыдно. Он понял, что размышляет как подлец. Что сделал бы нормальный мужчина? Женился! На Алле Викторовне? У которой был Сорокатых, и Архипов, и Эдишерашвили из конструкторского? И кого только не было. Алла Викторовна была желанна, но жениться никто и не хотел. Были какие-то бесконечные ухажёры, а вот до свадьбы так и не доходило. Алла Викторовна сама часто убеждала Мариночку, что брак – это самый отвратительный из институтов добровольного рабства, а она не способна подчиняться чьей-то воле. Не зря же у Аллы Викторовны над столом висел рисунок очаровательной киплингской кошки, что гуляла сама по себе. Саянов прочно прижал большие пальцы к вискам. Ну почему это случилось теперь, когда жизнь только стала налаживаться. Он знал – проблема не решится сама. Выпив «Боржом» прямо из бутылки, он сел напротив Аллы Викторовны. Молчал. Она заговорила первой и, кажется, успокоилась. Не плакала, лишь шмыгала носом, когда говорила.

– Мне не шестнадцать, Коля. Были и аборт. Много. И этот, скорее всего, станет последним.

Саянов отвёл глаза к окну. Он понимал, что выглядит пакостливым школяром, мечтающим, чтобы училка, пожутив немного, отпустила восвояси. Но как Саянов ни старался, ничего умного в голову не лезло. В конце концов он посмотрел на Аллу Викторовну, промолвив:

– Но ты же всегда говорила, что не хочешь детей.

Зажав рот крохотным платочком, Алла Викторовна глубоко вздохнула.

– Саянов, ты вроде не тупой человек. Давай начистоту. Ты хотя бы раз задумывался о таких, как я? Ни ребёнка, ни котёнка. Ни мужа, ни детей. Все эти идиотские новомодные термины: независимость, самостоятельность, свобода – ерунда на постном масле. Общество не меняется. Таких презирают. Никакого продвижения по службе, никакого доверия.

Саянов пожал плечами.

– Стало быть, будешь рожать?

Он нарочно спросил это как можно небрежнее, но в душе больше всего боялся ответа на свой вопрос. Ожидание, словно сверло стоматолога, жгло его изнутри. Терпеть не было никаких сил. Алла Викторовна ждала чего-то, но чего, Саянов и сам не знал. Поняв, что из Саянова не вытянуть ни слова, Алла Викторовна перешла к главному.

– Рожать? А кто его кормить будет? Ты? Ну, подам я на алименты, ну заберут у тебя четверть зарплаты. Так за эти крохи всю жизнь меня будут понукать развоухой, одиночкой... знаешь, небось, как у нас к таким относятся.

– Значит аборт?

Алла Викторовна горько усмехнулась, а Саянов поймал себя на мысли, что хочет ударить её по лицу. Ударить за то, что создала проблему и заставляет его, Саянова, решать, да ещё и лыбиться. Саянов уже прожил в своих мыслях позорное объяснение с матерью, порицание коллектива, товарищеский, а потом и народный суд, алименты и вечное «сын без тебя растёт». Он был готов к любому исходу, но жизнь с Аллой Викторовной казалась самым отвратительным из кошмаров. Её «богатое» прошлое всегда будет точить Саянова ржавым напильником. Алла Викторовна так и будет гулять по выходным, а Саянов – стирать пелёнки и возиться с ребёнком, который может быть и не от него. А ещё неизвестно, какой у Аллы Викторовны характер. Жить с ней на одной территории, где платья и трусы развешаны на гвоздях, а холодильник забит вином, было выше Саяновских сил. От этих мыслей хотелось выть. Ему стало жаль себя. Как прекрасно начался день, как хорошо было болтать с Леквеевым.

Но выскочила словно из-за угла проблема, решать которую Саянову ещё не доводилось. Что же это за проклятие такое? Чего хочет эта хищная женщина?

Женщина, судя по всему, осознав, что от Саянова никакой инициативы не дожждётся, ответила:

– Не бойся, Коля. Ребёнка я оставлять не собираюсь. И тебя мучать алиментами тоже. Но ты и меня пойми. Какому мужику я бездетная нужна буду?

Саянов отдал бы полжизни, чтобы на этом разговор и окончился. Хорошо бы Алла Викторовна встала сейчас, сказав: «Дай сотню на аборт», он бы без разговоров выложил три. Саянов, которого словно ледяным душем окатила пошлая догадка, повернувшись к Алле Викторовне, спросил:

– Сколько?

Алла Викторовна закивала головой, уставившись на портрет Брежнева в кителе, увешанном орденами. Саянову казалось, что Алла Викторовна сейчас скажет: «Посмотрите, Леонид Ильич, этот подлец даже вас не стесняется, э-э-эх...» Но ничего такого Алла Викторовна не сказала. Вдруг в голосе её зазвучали стальные требовательные нотки.

– Тебе дают отличную квартиру. Молчи. Дают. У меня свои информаторы. На квартиру я не покушаюсь, живи спокойно. Заберёшь к себе мать, а её квартиру – оформишь на меня. Я скажу как. Получится, как бы мы обменялись на мою дачу. Дача у меня – одно название. Накинешь тысячу – забирай насовсем. И машина. Теперь у тебя хорошая зарплата, можешь отдать «Москвич», не обижусь.

Как не пытался сдержаться Саянов, как не крепился, понимая, что нужно всё обдумать, взвесить и не рубить сплеча, да только и у робкого человека есть свой предел. Он закричал так грозно и громко, как не кричал ни на кого на свете:

– Ты совсем сдурела?! Пошла нахрен из моего кабинета!

Алла Викторовна вскочила как ошпаренная.

– Что? Ты, козёл вонючий, ничтожество, невесть как забравшееся в кресло завлаба... – от ярости у неё перехватило дыхание. Сглотнув, она задыхаясь, продолжила: – Нет, милый, ответишь по полной. Я тебя не то что на алименты, я тебя... у меня прокурор знакомый – заявлю, что изнасиловал, – она отвратительно расхохоталась, – проблем будет – не вывезешь. Ну и карьере твоей, разумеется, каюк. Да и правильно. Справедливо. Не по Сеньке шапка. Готовься, Саянов. Всегда знала, что ты – дерьмо!

Алла Викторовна ушла. Ушла, хлопнув дверью. Саянов понимал – конец. Эта стерва может всё на свете. Непременно выполнит всё обещанное, чего бы ей ни стоило. Саянов давно догадывался – случившееся в квартире Аллы Викторовны не его персональная заслуга. Эта охотница окучивала только успешных. И Маринку приучала. Саянову не хотелось унижать себя отвратительной догадкой. Но другого объяснения не было. За всё надо платить. И он, Саянов, вряд ли первая жертва этих закулисных интриг. Чертыхнувшись, Саянов несколько раз ударил по столу, секретарша, вбежав в кабинет, испуганно предложила чаю.

15.

Прошло три дня. Алла Викторовна не здоровалась с Саяновым, а он делал вид, что ничего не случилось. Проблема сжирала его изнутри, а посоветоваться с кем-то было совестно.

Выходные он просидел дома, читая книгу. Точнее, по сто раз пробежал глазами одну и ту же страницу, в голову не ложилось ни строчки. В ночь на понедельник Саянова разбудил звонок. Звонили из милиции. Пригласили на допрос в семь утра. Пока только в качестве свидетеля. И вот это пресловутое «пока» бесило больше всего. Началось. Чёртова дрянь нажаловалась, но Саянов им ещё покажет. Он понимал, что никогда и ничего не сделает, тем более милиции, но злость на Аллу Викторовну не проходила. Он лежал в постели и от бессилия грыз подушку. Спустя семь минут вновь зазвонил телефон. Саянов, схватив трубку, грозно прорычал:

– Знаю, знаю, завтра в семь.

На том конце растерянным голосом Щукина ответили:

– Как в семь? В девять у меня в кабинете. Экстренное совещание.

– В каком ещё кабинете? Что за совещание? По какому поводу?

Щукин строгим, но каким-то уставшим голосом промолвил:

– Несколько часов назад убили Аллу Викторовну... Мне только что позвонили из милиции. Сейчас поеду в морг, завтра...

Саянов бросил трубку. Он схватился за голову. Конец. Это был конец. Он знал, что произошло, схватив куртку и фонарь, сбежал во двор. Во дворе стояла обугленная, покосившаяся, но несомненно крепкая и живая скамейка. Она пришла. Она опять вернулась. Тусклый свет из подъезда освещал искореженные чёрные доски. Саянову на секунду показалось, что правый угол скамейки заляпан тягучей маслянистой жидкостью. Он присмотрелся – вроде показалось. Фонарём подсветил обгоревшие доски. Вроде бы кровь, а может и нет. Он повозил ладонью по холодной поверхности. Посмотрел на ладонь. Красноватые капли. Странно, и бензин был красноватым. Саянов со всей силы швырнул фонарь в скамейку. Фонарь разбился, один осколок больно порезал руку. Саянов стоял и смотрел на порез и всё не мог понять, бензин ли это или кровь. Саянов не стал возвращаться домой. Едва он переступит кабинет следователя, как придётся сознаться во всём. Саянов по-другому не мог. А потом следствие, суд, несмыслимый позор. Кто же поверит в дурацкую историю про скамейку. А ведь другой правды у Саянова всё равно не было. Почему-то вспомнились самиздатовские книжки про НКВД. Саянов по многу раз перечитывал момент, как подследственному дробили молотком руку. От этой до мерзости натуралистической сцены тошнило невообразимо. Какая-то дьявольская сила заставляла Саянова перечитывать снова и снова. Саянов знал – его не нужно бить. Положи молоток – и он подпишет что угодно. Сейчас милиция уже не та, но кто знает. Вдруг у Аллы Викторовны есть надёжные покровители в прокуратуре. Да и как им не быть. Она ведь грозилась пожаловаться. Что же делать. Ведь в целом свете никто, даже мать не поверит в историю со скамейкой. Или поверят? Как был, в куртке, майке-алкоголичке, синих сатиновых трусах и тапочках он пошёл напрямик через город.

Диспансер работал с восемью тридцати. Но для Саянова сделали исключение. Приехал доктор. И не просто приехал, а долго говорил с Саяновым, беседовал пристально и внимательно. Когда Саянов закончил свой рассказ, доктор сказал:

– Не скажу, чтобы на моей памяти было много таких случаев, но бывало.

Саянов, отогревшийся горячим чаем, вскочил со стула:

– Что? У вас были случаи?

Добрая, искренняя улыбка раздвинула щётку усов.

– И не просто случаи. Личный пример.

У Саянова подкосились ноги. Он сел на стул и недоверчиво посмотрел на доктора.

– Да-да. Молодой человек. Во время институтских экзаменов, когда мозг отказывался воспринимать хотя бы толику информации и неудержимо тянуло спать, стул приходил за мной и, усадив, тащил обратно к столу. Не вы один, Николай Ефимович, не вы один.

– Вы... вы это серьёзно?

Доктор поправил очки.

– А зачем бы я сменил хирургию на психиатрию. Там, – доктор показал в окно, – обожают навешивать ярлыки: псих, кретин, идиот. У этого – задержка психического развития, у того – алкогольный делирий. Малахольные, ненормальные. А ведь знают, что у каждого есть своя скамейка, свой стул и своя история. Вот вы как раз таки нормальнее других. Нашли в себе силы прийти, рассказать, поделиться. Адекватная реакция вполне здорового человека, налицо логическое мышление и попытка исправить ситуацию. Ну и, разумеется, самокритика. Где вы видели психа с самокритикой? – доктор улыбнулся, Саянов тоже улыбнулся.

– Значит у меня всё нормально? Могу идти?

Доктор начал записывать что-то в тетрадь.

– Идите, конечно, я вас не держу. Но как вы и сказали – на воле вас ждёт допрос, к тому же вы его, – он посмотрел на часы, – уже прогуляли. Там, среди этих кажущихся нормальными людей, я не смогу вам помочь, не смогу защитить. И ваша скамейка, а вы с ней никогда и ничего не сможете поделаться, будет везде бродить за вами.

– Но... но ведь она и сюда придёт.

– Ну, придёт. И что? – доктор выпрямился и, упёршись в стол, наклонился к Саянову. – И мой стул ходит за мной по пятам. Да только не таскает больше за стол, экзамены-то кончились, – доктор задорно расхохотался.

– Вы хотите сказать, что когда она перебьёт всех моих врагов...

– Враги, Саянов, они будут появляться бесконечно. Во всяком случае, пока вы контактируете с внешним миром. Ну а тут... кого вам ненавидеть? Меня? Медсестёр? Одноногого сторожа? – Доктор снова улыбнулся, и от этой улыбки Саянову стало тепло и уютно. Постучав пальцами по столу, доктор продолжил:

– Как бы там ни было, а вся эта ситуация нервишки вам подрасшатала. Мы их поправим, поможем. Попьём седативного, может, чего прокапаем. Питание, уход, беседы. Шахматы. Играете в шахматы? Ну вот и отличненько. А как всё уgomонится, смело уберётесь домой. Отдохните, Саянов. Вы просто очень устали.

Эпилог

Саянов уже второй год обитает в диспансере. Ни о чём не жалеет и вполне счастлив. Он всю жизнь искал спокойствия и тишины. Он получил её тут в полной мере. Ненавязчивые процедуры, седативные препараты, не туманящие мозг лекарства. Он много читает, беседует с доктором, каждый день играет в шахматы. К Саянову никого, кроме матери, не пускают. Это хорошо, ему никто и не нужен. Там, за белым бетонным забором, всё как-то утряслось, причём без привлечения Саянова. Он смотрит телевизор, слушает новости. Скамейка больше не шалит. Так и стоит, обгорелая, в больничном сквере.